



3. А. СОКУЛЕР

Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX в.

<Фрагменты>

Мы приступаем к изучению образа языка в поздней концепции Л. Витгенштейна, Она во многих отношениях решительно отличается от ранней. Прежде всего это касается понимания языка и метода анализа. Отныне образ языка, нарисованный в «Логико-философском трактате», и метод логического анализа высказываний становятся для Витгенштейна излюбленными объектами критики (не говоря уже о том, что у позднего Витгенштейна не может быть и речи о теории, описывающей мир). В то же время многие характерные черты мировоззрения Витгенштейна оставались неизменными. Он обращался к языку с той же целью — построить методологический аппарат, позволяющий добиваться прояснения философских проблем, результатом чего должно быть их снятие.

Но метод анализа, разработанный Витгенштейном в 1930–1940-е гг. радикально отличается от того, который был предложен в «Трактате». Новый метод не связан с использованием логических средств; не предполагает, что процедура анализа однозначна и конечна; не допускает абсолютно простых единиц смысла. Теперь Витгенштейн убежден, что процедура анализа языкового выражения меняет его смысл. Витгенштейн показывает это на таком ироническом примере. Метла есть комплекс, состоящий из ручки и щетки. Но если проанализировать предложение о метле, разложив его на более простые части, обозначающие ручку и щетку, то его смысл изменится. Это видно хотя бы из того, что типичная реакция на предложение «Принеси мне метлу!» — это выполнение просьбы, а на предложение «Принеси мне ручку и щетку, которая к ней прикреплена!» — выражение удивления: «Тебе нужна метла? А почему ты так странно выражаешься?»⁸.

⁸ *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI. С. 106.

Витгенштейн позднего периода создает иной метод анализа значений языковых выражений. Отдельные черты мы уже могли видеть в его рассуждениях по поводу философии математики. Метод состоит в том, чтобы показывать известные всем, но выпавшие из поля внимания факты различных использований языковых выражений. В результате этого должна обнаружиться неправомерность некоторых философских обобщений или утверждений. Связанные с ними проблемы отпадут сами собой. Человек, мучимый такими проблемами, почувствует ясность и облегчение. Тогда задача философского анализа — т. е. философской терапии — будет разрешена. Хочу обратить внимание, что «ясность» или «облегчение» суть вещи субъективные. Поэтому при таком понимании цели анализ не может быть универсальной процедурой. Анализ завершается не тогда, когда достигает неких «простых», «далее неразложимых» элементов языка (Витгенштейн окончательно отказался признавать таковые), а тогда, когда те, кто искал ясности, будут удовлетворены. Все, таким образом, зависит от ситуации и ее участников. Метод анализа превращается из подобия алгоритмической научной процедуры (как это было в логическом анализе) в искусство. А искусство неотделимо от личности его творца.

Строит ли при этом Витгенштейн философскую теорию языка? Нет, потому что он по-прежнему убежден, что философия должна быть не теорией, а деятельностью по прояснению наших высказываний и наших мыслей. Витгенштейн говорил слушателям своих лекций, что он не может дать им никаких новых истин; он дает только метод. Метод является чисто дескриптивным: он состоит в описании различных случаев употребления обсуждаемого выражения. При этом не вскрывается никаких скрытых сущностей. И вообще, не показывается ничего такого, что не было бы и без того известно. Рассуждения Витгенштейна о языке призваны показать не то, что он, Людвиг Витгенштейн, знает или думает о языке, но то, что мы, носители языка, умеющие пользоваться им, знаем о языке. Поэтому Витгенштейн повторяет, что философская аргументация не требует специальных предметных знаний. В «философской грамматике» нет ничего такого, о чем можно было бы спорить. Тут высказываются только такие вещи, о которых каждый готов сказать: «Конечно, это так; тут нечего и обсуждать».

Но зачем же высказывать подобные вещи? Затем, чтобы показать неправдоподобие, узость, беспочвенность некоторых философских доктрин. Фактически же речь у Витгенштейна идет о базисных предпосылках европейской философии Нового времени, ее метафизике, теории познания, учении о сознании.

Витгенштейн, таким образом, не собирается строить особой лингвистической теории¹, тем более особой философской теории языка, претендующей на большую глубину, чем лингвистические теории. Он стремится показать неудовлетворительность признаваемых философами трактовок языка. Прежде всего речь идет о теории, изображенной Августином в его «Исповеди»: «Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь, и по этому слову оборачивались к ней; я видел и запоминал: прозвучавшим словом называлась именно эта вещь... Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желанья»². Этой цитатой открываются «Философские исследования» — основной текст поздней философии Витгенштейна. Надо подчеркнуть, что августиновское понимание языка близко тому, на которое опирался сам Витгенштейн в «Логико-философском трактате». Отныне оно становится постоянным объектом его критики. Витгенштейн суммирует его следующим образом: «слова языка обозначают предметы — предложения суть сочетания таких наименований. — В этой картине языка мы находим корни следующей идеи. Каждое слово имеет значение. Это значение сопоставлено со словом. Оно есть предмет, замещаемый словом»³.

Для критики философских трактовок языка Витгенштейн развил особый методологический прием, состоящий в рассмотрении (реальных или воображаемых) фрагментов языковой деятельности, что гораздо проще, чем рассмотрение языка в целом. Простота этих фрагментов способствует более выпуклому показу тех черт языка, на которые нужно обратить внимание. Такие примитивные использования языка, отмечает Витгенштейн, подобны тем, на которых дети учатся говорить. Витгенштейн называет их языковыми играми. Обращение к языковым играм помогает рассеять туман, которым философия окружает понятие «значения».

Вот языковая игра-1, с которой начинается обсуждение Витгенштейна. «Я посылаю кого-нибудь за покупками. Я даю ему записку, на которой стоят знаки: «Пять красных яблок». Он относит записку к продавцу; тот открывает ящик, на котором стоит знак «яблоки»; затем он ищет в таблице слово «красный» и находит напротив него цветовой образец; наконец, он

¹ Другой вопрос — как было прочитано и понято то, что он сделал. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»

² Там же. С. 79.

³ *Wittgenstein L. Philosophical investigations. Oxford, 1953. X, 1.*

произносит ряд числительных — я предполагаю, что он знает их наизусть, — до слова «пять» и при каждом числительном он вынимает из ящика одно яблоко, имеющее цвет образца. Так или подобно этому оперируют словами. Но как же он знает, где и как ему искать слово «красный» и что он должен делать со словом «пять»? Ну хорошо, я допускаю, что он действует так, как я описал. Объяснения рано или поздно подходят к концу. Но каково же значение слова «пять»? Об этом здесь речь вообще не шла; речь шла лишь о том, как слово «пять» употребляется⁴.

Этот пример показывает недостаток данного Августином объяснения языка; он трактует одинаково значения всех слов. Языковая игра, описанная Витгенштейном, демонстрирует функционирование слов, принадлежащих разным категориям и по-разному соотносящихся с тем, что ими обозначается.

В дальнейших рассуждениях Витгенштейна заметное место уделяется языковой игре-2: «Этот язык должен служить делу установления понимания между строителем *A* и его помощником *B*. *A* использует при строительстве детали разной формы: имеются кубы, столбы, плиты и балки. *B* должен подавать *A* детали, причем в том порядке, в каком они нужны *A*. С этой целью они используют язык, состоящий из слов «куб», «столб», «плита», «балка». *A* выкрикивает их; *B* приносит ту строительную деталь, которую он выучился приносить на этот выкрик. — Пойми это как совершенно примитивный язык»⁵. Этот примитивный язык вполне соответствует описанию Августина. Но насколько он уже и беднее, чем язык, используемый нами! Таким образом, описание работы языка, данное Августином, — и самим Витгенштейном в его ранней работе — пригодно только для отдельных и специфических применений языка, а не для охвата того целого, на которое оно претендует.

Языковую игру строителя и его помощника можно обогащать и усложнять, добавляя обозначения для натуральных чисел, цветов и слова «туда», «сюда». Теперь строитель может говорить более сложными фразами, например: «Три красные плиты — туда!» Как теперь следует отвечать на вопрос, что обозначают слова этого языка? Мы можем сказать, что:

«куб» обозначает куб;

«плита» обозначает плиту;

«туда» обозначает...?

⁴ Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. С. 79–80.

⁵ Там же. С. 80.

В самом деле, слова «туда» и «сюда» нельзя трактовать как знаки, представляющие в предложении определенные предметы. Не поддаются такой трактовке и числительные. Можно ли сказать, что слово «один» обозначает число «один», подобно тому, как слово «куб» обозначает куб? «Но от того, что мы уподобляем друг другу описание употреблений слов, эти употребления не становятся более сходными», — отвечает Витгенштейн⁶. И предлагает нам такой образ языка: «Представь себе ящик с инструментами: здесь есть молоток, плоскогубцы, пила, отвертка, линейка, банка с клеем и сам клей, гвозди и шурупы. Сколь различны функции этих предметов, столь же различны и функции слов (и в обоих случаях есть и сходства.)

Правда, нас запутывает внешнее сходство слов, когда они встречаются нам в произнесенном, написанном или напечатанном виде. Ибо их употребление стоит перед нами не столь отчетливо. Особенно, когда мы философствуем!»⁷.

Витгенштейн стремится показать, что отношение между знаком и обозначаемым не является единообразным для различных обозначающих выражений. Нельзя выделить для каждого языкового выражения, при любом виде употребления, определенный (реальный или идеальный) объект (или множество объектов), являющийся значением этого выражения. Тем более нельзя рассматривать связь обозначающего выражения и его значения как особую объективную связь, которая соединяет их независимо от употребляющих язык людей и диктует людям, как они должны использовать это выражение.

Существуют самые различные типы языковой деятельности, в которых слова имеют разные функции и по-разному относятся к реальности. Среди разнообразия языков и видов использования слов нельзя выделить привилегированную каноническую форму, к которой должно якобы сводиться все наблюдаемое разнообразие. Каждая форма заслуживает самостоятельного описания и изучения. Нельзя объявлять какую-то одну из них выражением сущности языка. На вопрос, сколько видов употреблений языковых выражений можно выделить, отказавшись от признания единственной канонической формы, Витгенштейн отвечает, что «имеется бесчисленное множество таких типов, бесконечно разнообразных типов употребления всего того, что мы называем «знаками», «словами», «предложениями». И это многообразие «не является чем-то фиксированным, данным раз

⁶ Там же. С. 83.

⁷ Там же.

и навсегда; напротив, возникают новые типы языка, или, как мы могли бы сказать, новые языковые игры, в то время как другие языковые игры устаревают и забываются...

Уясни себе разнообразие языковых игр на этих и других примерах:

- приказывать и исполнять приказы;
- описывать внешний вид предмета или его размеры;
- изготавливать предмет в соответствии с описанием (рисунком);
- докладывать о ходе событий;
- строить предположения о ходе событий;
- выдвигать и доказывать гипотезу;
- представлять результаты опыта в виде таблиц, и диаграмм;
- сочинять рассказ и читать его;
- притворяться;
- петь хороводные песни;
- отгадывать загадки;
- шутить, рассказывать анекдоты;
- решать арифметические задачи;
- переводить с одного языка на другой;
- просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молиться.

Интересно сравнить разнообразие языковых орудий и способов их употребления, многообразие типов слов и предложений с тем, что говорили логики о структуре языка (в том числе и автор «Логико-философского трактата»)»⁸.

Своим утверждением несводимого разнообразия видов употребления языка Витгенштейн отмечает также и идею «базисного» уровня значений, и идею редукции всех прочих видов значений к этому базисному. Но не слишком ли он поспешен и категоричен? Трудно было бы, например, отрицать, что обучение языку начинается именно так, как это описывает Августин: ребенку указывают на предмет и говорят: «Это...». Например, «это стол», «это называется красным» и т. п. Такие акты введения слова через указание на соответствующий предмет получили название остенсивных определений. Посмотрим, следуя Витгенштейну, на такую ситуацию более пристально. Представим себе самую простую и прозрачную форму остенсивного определения: нам указывают на человека и называют при этом его имя. Разве не очевидно, что данный человек является значением имени? Нет, объясняет Витгенштейн, потому что предложение, содержащее имя этого человека, останется осмысленным и после его смерти. Но предложение не было бы осмысленным, если бы разрушилось

⁸ Там же. § 23.

значение входящего в него слова. Следовательно, носитель имени не является его значением.

Ситуация, когда ребенку указывают на стол и говорят: «Это стол», тоже оказывается простой лишь на первый взгляд. Ведь критерием того, понял ли ребенок значение слова, будет выступать то, как он его употребляет в разных обстоятельствах. Он должен применять слово не только к тому столу, на который ему указали, но должен усвоить, что «столом» надо называть *то же самое*, что и предмет, на который ему указали. Это означает, что акт остенсивного задания значения должен быть дополнен обучением тому, что является *тем же самым, что и* называемый предмет. Но этого-то нельзя задать остенсивно. Данный навык достигается только тренировкой в процессе употребления слова в самых разных ситуациях. Только в употреблении раскрывается, каков критерий «того же самого» употребления применительно к данному слову. Очевидно, что остенсивное определение не может научить употреблению.

Чтобы показать это, один из интерпретаторов витгенштейновских текстов предлагает следующий пример⁹: представим себе, что в присутствии ребенка часто произносили слово «стол» и указывали на стол. В результате ребенок с удовольствием проделывает ту же процедуру: указывает на стол и произносит соответствующее звуко сочетание. Он требует, чтобы то же самое делали и окружающие. Но *никак иначе* он не употребляет слово «стол» и не реагирует на просьбы, вопросы, приказы, в которых оно фигурирует. Ассоциация между предметом и словом явная, но разве можно в данном случае говорить, что ребенок понимает значение слова «стол»? Для него употребление данного слова представляется игрой, где в определенной ситуации надо произносить определенные звуки. Ребенок не понимает, что слово «стол» есть *имя* стола. Чтобы понять это, надо овладеть языком и усвоить, какое место среди других выражений занимает употребление именуемых выражений. Этот пример показывает справедливость витгенштейновского замечания, что *значение есть употребление*. В известном смысле так оно и есть: значение слова «стол» состоит в том, что оно есть *имя* для предмета «стол», а это, в свою очередь, означает, что оно *употребляется* соответствующим образом.

Отсюда, кроме всего прочего, вытекают важные следствия для идеи «языковых атомов» как особой, базисной категории

⁹ Gert B. Wittgenstein's private language arguments // Synthese. 1986. Vol. 68. № 3. P. 409–439.

выражений, значения которых устанавливаются независимо от прочих составляющих языка, и из которых потом формируются значения всех прочих, «производных» семантических уровней. Для Витгенштейна позднего периода понятие «языкового атома» бессмысленно. Дело в том, что атомами их может делать только место в системе языка. Чтобы овладеть значением любого «языкового атома», надо овладеть его функционированием в языке, допустимыми сочетаниями с выражениями других категорий и способами формирования на его основе производных значений. Таким образом, значения даже «языковых атомов» определяются через их употребления в системе языка и потому предполагают грамматическую структуру языка как целого.

Но пробным камнем для рассуждений Витгенштейна являются слова, обозначающие чувственные свидетельства, например, названия цветов. В самом деле, на первый взгляд представляется очевидным, что человек может использовать названия для своих восприятий и ощущений, — например, восприятия зеленого цвета, чувства боли, — не нуждаясь для этого ни в каком обучении правилам использования этих выражений. В данном случае не обучение, а сама структура наших органов чувств должна обеспечить нас необходимым критерием того же самого употребления. В силу этого названия ощущений выступают как непосредственные представители самих чувственных данных в языке.

Но Витгенштейн опять показывает, что подобные представления о значении слов, обозначающих чувственные данные, упрощены. Попробуем представить себе остенсивное задание значения слова «красное». Это будет выглядеть как указующий жест и фраза: «Вот это называется красным». Но к чему относится «это»? Что именно надо называть словом «красное»? Как может обучающийся ребенок сразу понять, что данное слово относится к цвету, а не к форме, вкусу, назначению предмета?

Представим себе далее такую попытку преодолеть данную неопределенность: «этот цвет (указывающий жест) называется “красное”». Подобное уточнение равносильно предположению, что ребенок уже владеет употреблением слова «цвет».

Витгенштейн отмечает, что значения чисел (примерно до десятка) тоже могут задаваться остенсивно. Но хотя и маленькие числа, и цвета могут получать значение остенсивно, различие между арифметикой маленьких чисел и языком описания цветов не становится от этого менее значительным. Данный пример показывает, что роль остенсивного определения в формировании значения не является определяющей, ибо значение формируется лишь с помощью правил данной языковой системы в целом.

Только они определяют, что можно осмысленно сказать о числах, а что — о цветах.

Вера в то, что для задания значения достаточно остенсивного определения, неосознанно опирается на предположение, будто ребенок уже владеет собственным языком, грамматическая структура и категории которого идентичны нашему. Он как будто уже знает, чем отличаются, например, числа от цветов или форм, знает, что употребление выражений любой категории управляется особыми правилами. Обучение языку представляется при этом как обучение переводу с этого внутренне присущего ребенку языка на наш общедоступный язык. А Витгенштейн показывает, что обучение есть натаскивание ребенка на правильное употребление языка во всех соответствующих ситуациях. Овладение языком есть овладение определенной техникой, а овладение значением слова, введенного остенсивно, есть элемент этой техники.

Витгенштейн еще раз доказывает этот тезис, опровергая идею «персонального языка». Подразумевается язык, который некий субъект придумывает для обозначения своих внутренних ощущений, недоступных внешнему наблюдению. Идея «персонального языка» является выражением представления о том, что собственные чувственные впечатления и ощущения даны сознанию настолько четко, определенно и непосредственно, что построение языка, описывающего их, совершенно непроблематично. Он строится по принципу: одно ощущение — один языковой знак. Языковой знак и ощущение коррелируются в акте «внутреннего остенсивного определения»: субъект выделяет для себя ощущение, которое он в настоящий момент испытывает, и вводит особый знак для него. Витгенштейн же подробно разбирает акт «внутреннего остенсивного определения» и показывает, какие предпосылки необходимы, чтобы субъект мог обозначить для самого себя свои ощущения. «Что значит, — спрашивает Витгенштейн, — что он «дал название своему ощущению боли»? — Как он это сделал: дал название?! И если он это сделал, то с какой целью? — Когда говорят: «Он дал название для ощущения», то забывают, что в языке уже должны быть предпосылки для того, чтобы простое именование имело смысл. Поэтому, когда мы говорим, что кто-то дал наименование своему чувству боли, мы забываем, что предпосылкой этого акта является грамматика слова «боль»; грамматика уже зафиксировала позицию, которую должно занять новое слово»¹⁰. Это рассуждение Витгенштейна показывает, что идея «персонального языка» связана с неявным

¹⁰ Wittgenstein L. *Philosophical investigations*. X. § 257.

и неосознанным допущением, что субъект уже обладает категориальным аппаратом языка. Тогда акт остенсивного введения значения нового символа служит только для того, чтобы заполнить клеточку лексической системы. Для того чтобы нечто было названием боли, мы должны знать, что такое боль и что можно осмысленно говорить о боли. «На каком основании мы можем назвать некоторый знак Е обозначением для ощущения? «Ощущение» — это слово нашего общего, а не персонального языка. Использование этого слова требует обоснования, понятного всем. — И ничего не изменится, если мы скажем, что он называл не «ощущение», а просто нечто, что он ощущает и о чем больше ничего нельзя сказать. Ведь «ощущает» и «нечто» принадлежат нашему общему языку. — Так в результате философствования мы приходим в конце концов к произнесению одних неартикулированных звуков. Но подобные звуки являются выражениями лишь в определенной языковой игре, которую мы должны в таком случае описать»¹¹.

Витгенштейн показывает таким образом, что и чисто остенсивное определение языковых выражений для обозначения ощущений в действительности паразитирует на уже сложившейся языковой системе. Вне ее невозможно фиксировать, что именно обозначил субъект данным словом, употребит ли он его в следующий раз по отношению к тому же или другому ощущению.

«Итак, можно сказать: остенсивное определение объясняет употребление — значение — слова, когда уже полностью ясно, какую роль в языке вообще должно это слово играть... Ты имеешь право это сказать, если не забываешь при этом, что теперь всевозможные вопросы связаны со словом *знать или быть ясным*.

Чтобы быть в состоянии спросить о наименовании, нужно уже что-то знать (или уметь). Но что нужно знать?»¹². Отвечая на последний вопрос, Витгенштейн приводит следующий пример: человеку объясняют, что такое шахматный король. Остенсивное определение, т. е. указание на фигурку и фраза «это король» имеет смысл только тогда, когда для данного понятия, так сказать, уже приготовлено место, т. е. тот, кому объясняют, представляет себе, в чем заключается шахматная игра. «Мы можем сказать: осмысленно спрашивает о наименовании лишь тот, кто уже умеет с его помощью подступить к чему-либо»¹³.

¹¹ Ibid. § 261.

¹² Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. С. 95.

¹³ Там же. С. 92.

Можно, говорит Витгенштейн, представить себе такую языковую игру, в которой один человек указывает на предмет, а другой — произносит его название. Такая языковая игра является всего лишь одной из возможных, однако для большинства философских теорий языка она выступает как основная модель, объясняющая, как слово получает значение. В то же время очевидно, что данная языковая игра несравненно примитивнее, чем наш язык. В ней только *называют* предмет и больше ничего с этим названием не делают, тогда как в нашем языке имена выполняют различные функции и входят в целую языковую систему. «Именами» мы называем весьма *различные* вещи; слово «имя» характеризует многие разнообразные типы употребления слова, связанные друг с другом многими различными способами»¹⁴.

Витгенштейн напоминает нам об этих языковых фактах, чтобы подвергнуть критике философские воззрения, подобные тем, которые исповедовал сам в «Логико-философском трактате»: как мы помним, там совершенно не было людей, использующих язык, а имена «сами дотягивались» до реальности. Теперь же Витгенштейн критикует понимание «именования как некоторого, так сказать, оккультного процесса. Именование выступает как таинственная связь слова с предметом. И такая таинственная связь действительно имеет место, а именно, когда философ, пытаясь выявить соотношение между именем и именуемым, пристально вглядывается в предмет перед собой и при этом бесчисленное множество раз повторяет некоторое имя... ибо философские проблемы возникают тогда, когда язык бездействует. И тут мы, конечно, можем возомнить, будто именование представляет собой некий удивительный душевный акт, чуть ли не крещение предмета»¹⁵.

Среди тех философских воззрений на язык, беспочвенность которых хочет показать Витгенштейн, особо важное место занимают концепции, связывающие работу языка с работами ментальных механизмов «в» голове человека. Они рассматривают язык как *перевод* во внешний, план вполне определенных и четко структурированных процессов; объясняют связь слова и его значение через некие гипотетические психические механизмы; считают, что значения слов — это образы, возникающие в сознании в результате ассоциативной связи со словом и т. п. Так, например, Дж. Локк утверждал, что «то, знаками чего являются слова, — это идеи говорящего, и слова в качестве знаков никто не может

¹⁴ Там же. С. 95.

¹⁵ Там же. С. 96.

употреблять непосредственно ни для чего, кроме как для своих собственных идей»¹⁶.

Критика концепций такого рода занимает существенное место в наследии Витгенштейна. В разных контекстах и по разным поводам он неустанно проводит идею, что мыслительные операции, такие, как именованье или понимание речи собеседника, не сопровождаются образами, достаточно четкими и определенными, чтобы их можно было считать регулирующими эти мыслительные операции. Так, даже при произнесении имени моего знакомого в моем сознании не обязательно возникает определенный образ, похожий на этого знакомого. В рассуждениях такого рода Витгенштейн сам зачастую прибегает к интроспективному методу. Он призывает тщательно проследить за тем, что всплывает в сознании при совершении акта именования, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо определенных, постоянных и однозначных образов, похожих на именуемый предмет. Более того, наличие подобных образов сделало бы проблематичной возможность понимания. Как удостовериться, что образы, соответствующие одному и тому же имени, сходны у разных людей? И далее, если человек называет данным именем те объекты, которые «достаточно похожи» на образ в его сознании, то где гарантия, что все люди будут понимать «достаточное сходство» одинаково?

Рассуждения Витгенштейна было бы неправильным понимать как утверждение, что в сознании людей вообще не возникает при оперировании именами никаких образов. Витгенштейн во все не собирается доказывать так много. Вполне возможно, что психика отдельных людей организована так, что в их сознании обычно присутствуют яркие и четкие образы того, о чем они говорят. Но он стремится показать, что эти ментальные образы или процессы, происходящие в сознании, лишены достаточной структурированности и определенности, чтобы на их основе можно было объяснить язык, коммуникацию, познание. «Когда я мыслю в языке, — говорит Витгенштейн, — то в моем сознании не витают, наряду с языковыми выражениями, еще и “значения”; напротив, сам язык есть носитель мышления»¹⁷. Поэтому если пытаться объяснить язык (или, более широко, культуру) через психические акты, то мы попадаем в логический круг и будем мистифицировать сами себя, ибо последние как раз объясняют-

¹⁶ Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Кн. 3. Гл. 2. // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 1. М., 1985. С. 462.

¹⁷ Витгенштейн Л. Философские исследования. § 329 // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI.

ся через язык и культуру. Определяющий и структурирующий элемент психических актов и состояний привносится извне в процессах обучения.

Витгенштейн критикует также теорию значения, согласно которой значением является абстрактное свойство или абстрактная сущность, которой обладают все предметы, обозначаемые данным словом, и только они. Подобная теория значения существует в русле традиционной теории абстракции, согласно которой общее понятие образуется путем отбрасывания единичных признаков предметов и выделения их общих признаков. При этом, как правило, общее рассматривается как существенное и гораздо более важное, чем единичное. Если общее и не усматривается сразу, то считается, что его надо выявить с помощью какой-то особой техники анализа. Например, Сократ в диалогах Платона, исследуя любое понятие, будь то «мужество», «добродетель», «красота», стремится выделить то общее, что есть во всех проявлениях мужества или во всех прекрасных предметах. Это общее и выступает для него как сущность данного понятия. Так, в мужестве, по утверждению Сократа, должно быть нечто тождественное и общее для всех проявлений мужества, будь то в бою или в тылу, на море или на суше, в частных или в государственных делах. Именно это общее и рассматривается Сократом как определение понятия мужества, и, как мы скажем в контексте нашего обсуждения, общее выступает для него как значение слова «мужество».

«Сократическое» понимание значения как абстрактного общего свойства, которым должны обладать все явления, обозначаемые данным словом, наложило сильный отпечаток на теории значения и теории абстракции европейской философии. Но Витгенштейн показывает, что данная традиция неспособна объяснить все возможные способы функционирования общих понятий. Он подчеркивает при этом, что абстрагирование и обобщение — методы естественных наук. В философии же важно не потерять специфику каждого конкретного случая, в частности — специфику каждого конкретного способа соотнесения языкового выражения и обозначаемых им объектов или явлений.

Требуя, чтобы философия не стремилась к обобщениям, Витгенштейн предостерегает также против того, чтобы языковое выражение отрывалось от его реального употребления и анализировалось как автономный объект, в абстракции от контекста употребления и вида деятельности, с которыми переплетено употребление.

Вследствие этих принципиальных моментов своего метода Витгенштейн и заслужил характеристики типа следующей:

«Предметом своего исследования поздний Витгенштейн и его ученики сделали современный повседневный язык, и только его. Поступая таким образом, они хотели соединить максимальную непосредственность изучаемого объекта с его наглядностью. Их феноменалистская погоня за непосредственностью диктовалась также желанием опуститься на уровень обыденного сознания... (в результате чего концепция Витгенштейна оказалась на самом низшем в психологическом отношении уровне — на уровне языка обывательски мыслящих и занятых самой примитивной повседневностью людей)»¹⁸. Что касается «уровня обывательски мыслящих людей», то я позволю себе остановиться на эпизоде, о котором вспоминает ученик и друг Витгенштейна Н. Малколм. Дело было в начале Второй мировой войны. Нацисты обвиняли Великобританию в том, что она готовит покушение на Гитлера и надеется покончить с войной, умертвив его лично. Малколм сказал, что не верит всему этому, ибо подобный замысел не соответствует британскому национальному характеру. И такая фраза чуть было не сломала навсегда их дружбу. Спустя несколько лет, напоминая о данном эпизоде, Витгенштейн объяснял, почему придал ему такое значение: «Ваше замечание о “национальном характере” шокировало меня своей примитивностью. Я подумал тогда: зачем же изучать философию, если... это не улучшило ваше мышление о важных вопросах повседневной жизни, не сделало вас более осмотрительным, чем какого-нибудь журналиста, при использовании опасных фраз, которые эти люди используют для своих собственных целей»¹⁹.

Итак, оказывается, что разрабатываемый Витгенштейном метод анализа значений языковых выражений не только не диктовался «желанием опуститься на уровень обыденного сознания», но, напротив, Витгенштейн был убежден, что его метод помогает подняться над этим уровнем по отношению к предельно серьезным и важным жизненным проблемам. Но каким же образом? И как все это связано с проблемой значения и теорией абстракции?

Посмотрим на ставший классическим витгенштейновский анализ значения слова «игра»: «Я имею в виду, — пишет он, — игры на доске, карточные игры, игры в мяч, спортивные игры и т. д. Что свойственно им всем? — Не говори: «Должно быть нечто общее, иначе бы они не назывались “играми”», — но посмотри, есть ли что-нибудь общее для них всех. — Ведь когда ты

¹⁸ Современная буржуазная философия. М., 1972. С. 419–420.

¹⁹ *Malcolm N. Ludwig Wittgenstein: A memoir* L.: Oxford Univ. Press, 1958. P. 39.

смотришь на них, ты видишь не что-то общее им всем, а подобия, сходства, причем целый ряд. Как уже было сказано: не думай, а смотри! Погляди, например, на игры на доске с их многообразными сходствами. Затем перейди к карточным играм: здесь ты найдешь множество соответствий с первой группой, но много общих черт исчезнет, зато появятся другие. Если мы далее обратимся к играм в мяч, кое-что общее сохранится, но многое утратится. — Все ли они «развлекательны»? Сравни шахматы и «крестики-нолики». Или: всегда ли есть победа и поражение или соперничество между игроками? Подумай о пасьянсах, в играх с мячом есть победа и поражение; но если ребенок бросает мяч в стену и ловит его, то этот признак исчезает. Посмотри, какую роль играют ловкость и удача. И сколь различны ловкость в шахматах и ловкость в теннисе. Теперь подумай о хороводах: здесь есть элемент развлечения, но как много других черт исчезло! И таким образом мы можем пройти через многие и многие группы игр. И увидеть, как сходства то появляются, то снова исчезают.

Результат этого рассмотрения звучит так: мы видим сложную сеть сходств, переплетающихся и пересекающихся. Сходств больших и малых.

Я не могу придумать никакого лучшего выражения для характеристики этого сходства, чем «семейное сходство»; ибо именно так переплетаются и пересекаются различные линии сходства, существующие между членами одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т. д. и т. п. И я буду говорить: «игры» образуют семью»²⁰. Тут же Витгенштейн приводит примеры других понятий, образующих «семью»: язык, число. «Вместо раскрытия чего-то общего для всех явлений, которые мы называем языком, я говорю, что эти явления не имеют чего-то общего им всем и позволяющего нам употреблять одно и то же слово для их обозначения, но они родственны друг другу многими различными способами»²¹. О числе же Витгенштейн говорит: «Мы расширяем наше понятие числа так же, как мы прядем нитку, скручивая волокно с волокном. А прочность нитки не в том, что какое-то одно волокно проходит по всей ее длине, а в том, что многие волокна переплетаются друг с другом»²².

Эти рассуждения Витгенштейна встретили суровую критику в учебнике по истории современной буржуазной философии: «Витгенштейн, как феноменалист, не проводит различия между

²⁰ Wittgenstein L. Philosophical investigations. P. 67.

²¹ Ibid. P. 67.

²² Ibid.

внешними (поверхностными) признаками сравниваемых явлений и признаками существенными... не рассматривает проблему генезиса значений и их исторического развития... Между тем именно в случае слова “игра” легко показать, что *генетический* подход позволяет установить объективное, а совсем не конвенциональное внутреннее единство между различными случаями игр, которые возникли еще у детенышей зверей в качестве подготовки к будущему их поведению как взрослых животных»²³. В данном образчике критики интересны два момента. Во-первых, вера в то, что за видимым многообразием явлений, обозначаемых каким-то одним *словом*, всегда должна лежать объективная *общая сущность*. Это равнозначно вере в то, что слова обычного языка относятся к (пусть не видимым, не осознаваемым) *сущностям*. Во-вторых, вера в то, что сущности связаны с происхождением.

Между тем рассмотрение генезиса и исторического развития значений не было чуждо и Витгенштейну. Так, интересные соображения по поводу формирования значений языковых выражений можно найти в витгенштейновских заметках о книге Фрэзера «Золотая ветвь». Внимание Витгенштейна привлек следующий обычай, описанный Фрэзером: существовало поверье, что дух хлеба может воплощаться в собаке или волке. Поэтому иногда последняя несжатая полоска хлебного поля называлась волком (ибо именно в ней должен был укрыться дух всего убираемого поля). Но волком называли и того человека, который убирал последнюю полоску. Он должен был соответственно вести себя, например, рычать или делать вид, что собирается кусаться. «Когда я читаю Фрэзера, — пишет Витгенштейн, — я хочу сказать: все эти процессы, эти изменения значения происходят и со словами нашего языка. Когда то, что прячется в последнем снопе, называют “хлебным волком” и так же называют этот сноп, а затем и человека, который его убирает, то в этом мы узнаем хорошо знакомый нам языковой процесс»²⁴. Таким образом, Витгенштейн (и не только он, но и, например, Л. С. Выготский) рисует картину типичных для языка процессов: слово переходит с одних предметов на другие, которые как-то «соприкасаются» с первыми (имеют общее происхождение, либо чем-то похожи, либо задействованы вместе с первыми в какой-то ситуации).

А как же объективная общая сущность, которая, если верить цитируемому выше учебнику по истории современной буржуазной философии, обязательно должна лежать — как под-

²³ Современная буржуазная философия. С. 423.

²⁴ Ibid. P. 258.

кладка — «за» видимым многообразием обозначаемых словом предметов? Найдется и таковая — если мы согласимся признать объективное существование духа *хлебного поля*, который перебегает из одного предмета в другой, соприкоснувшись с первым, — по законам контагиозной магии.

Для современного человека не в меньшей степени, чем для дикаря, характерна склонность к фетишизации знаковых систем, наделению знаков и значений магическими свойствами, не говоря уже о проецировании на окружающую реальность собственных представлений и побуждений. Большинство людей автоматически реагируют на слова политико-идеологического словаря, на клише и «измы» так, что, если есть слово — значит, реально существует и то, что им обозначается; если группа людей получила определенный ярлык — значит, у них есть общая сущность; если какая-то партия или идеологическое течение постоянно используют некоторый лозунг или наименование — значит, они сохраняют неизменной свою сущность и т. д. Язык, особенно тот, на котором говорят идеология и предрассудки, полон четких граней, однозначных оппозиций, неизменных сущностей. Обыденное сознание переносит эти грани, оппозиции, сущности на саму реальность. Так мир современного человека наполняется фантомами.

Витгенштейновская концепция «семейного сходства» направлена против идеи, что каждому общему понятию или номинативному выражению соответствует определенное абстрактное свойство, которое и можно было бы рассматривать в качестве его значения. Поэтому она обязательно должна быть дополнена идеей *значения как употребления*. В самом деле, Витгенштейн показал, что значение нельзя трактовать ни как определенный предмет, ни как определенный образ сознания, ни как определенное абстрактное свойство. Поэтому остается допустить, что употребление данного слова по отношению к тому или иному кругу предметов регулируется набором парадигм типа: игрой называется это, а еще это, и то тоже называется игрой. Ориентируясь на такие образцы, мы можем употреблять данное слово в привычных случаях. Но относительно каких-то новых явлений набор парадигм не предрешает, распространится на них употребление или нет.

Таким образом, витгенштейновский тезис, что значение есть употребление, приобретает в этом контексте следующий смысл. Поскольку значения не являются четко определенными объектами или сущностями, на которые мы можем ориентировать свое словоупотребление, постольку употребление должно определяться принятыми **образцами** и правилами. Это означает, что на место регулирующей способности абстрактного объекта или

ментального образа Витгенштейн ставит регулирующую силу норм данного вида *языковой деятельности*.

Если в «Логико-философском трактате» язык определялся как совокупность предложений, то теперь Витгенштейн стремится, используя примеры различных языковых игр, вызвать в нашем представлении иной образ языка.

Отличительной чертой языковых игр является нерасторжимое единство языка, его употребления и определенной деятельности, причем *образцы и нормы языкового поведения неотделимы от образцов и норм конкретного вида деятельности*. «Это целое, состоящее из языка и действий, с которыми он связан, я буду называть также языковой игрой»²⁵. Объясняя происхождение этого термина, Витгенштейн ссылается на те игры, в которых ребенок обучается значениям слов. Для овладения языком ребенку нужна игра, т. е. *деятельность*, в которой осуществляется манипулирование со словом по строго определенным *правилам*. Значение слова можно выучить лишь в контексте определенной деятельности — таков смысл, вкладываемый Витгенштейном в термин «языковая игра». Идея языковой игры показывает, что язык сам есть часть определенной деятельности. Вместе они образуют каркас, определяющий значения слов. В различных языковых играх одни и те же слова имеют разные употребления, и это означает, что они фактически имеют разные значения. При этом важно, что совокупность возможных употреблений одного и того же слова не ограничена и не фиксирована. Имеется неопределенно большое число различных употреблений, в которых слово получает соответственно различные значения: имени или целого предложения, команды или вопроса, утверждения, просьбы, сомнения и проч.

Витгенштейн даже сам изобретает различные языковые игры, в которых одни и те же слова имеют разные функции. Каждая (реальная или придуманная) языковая игра выступает как целостная и замкнутая система. Не имеет смысла говорить, что она, например, неполна. Разве, спрашивает Витгенштейн, наш язык был неполон до изобретения химических символов или символизма исчисления бесконечно малых? Языковая игра может быть дополнена. Но это не значит, что до того в ней зияли пробелы. Так же и язык: он и полон, и всегда может быть пополнен. Язык развивается подобно тому, как растет город. Строятся новые дома и целые кварталы, со своей планировкой

²⁵ Витгенштейн Л. Философские исследования. §7 // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI.

и архитектурой, перестраиваются старые кварталы. А в языке появляются новые правила, новые использования языковых выражений, и одновременно происходит отмирание или модификация старых использований. Но неизменно язык остается средством коммуникации. Он предполагает *единообразие пониманий и суждений всех участников*.

Рассмотрение различных языковых игр помогает достичь ясности относительно языка, потому что языковые игры служат объектами для сравнения. Сопоставляя их с реальным языком, легко указать на те черты, которыми обладает язык²⁶.

В частности, само понятие языковой *игры* не может не навести на мысль о *правилах*. Какая же игра без правил! Теме языковых правил будет посвящена следующая лекция.

Сейчас я хочу подчеркнуть еще один момент. В «Философских исследованиях», так же как в «Философской грамматике», «Голубой и коричневой книгах», представлено воззрение на язык, радикально отличающееся от того, что излагалось в «Логико-философском трактате», от воззрений на язык, типичных для эмпиристской традиции, и от подходов к языку в русле логического анализа. Здесь не осталось и следа от безличного солипсизма «Трактата». На сцену выступили различные люди, использующие язык в ходе совместной деятельности. Язык описывается Витгенштейном как форма социальной практики, а не как безличное отражение реальности. По этому поводу очень хочется сказать, что поздний Витгенштейн строит деятельностную и социальную концепцию языка. Зачастую так и говорят. Однако утверждать это все-таки не следует, потому что Витгенштейн неоднократно разъяснял, что он не собирается строить никаких теорий. Он стремится указать нам на известные факты относительно языка, которые должны побудить нас отказаться от некоторых философских объяснений его сущности; например, эмпиристских или тех, которые давались в логическом атомизме.



²⁶ Wittgenstein L. Philosophical investigations. P. 130.